

В. ВАЦУРО (С.-Петербург, Россия)

ДВЕ ЗАМЕТКИ К ПУШКИНСКИМ ТЕКСТАМ

1.

Один из источников „Окна”

Лицейская элегия Пушкина „Окно”, относящаяся к 1816 году, почти не привлекала к себе внимания исследователей. О ней упоминали обычно, перечисляя стихи, посвященные Е. П. Бакуниной или так или иначе связанные с этим юношеским увлечением Пушкина,¹ — впрочем, без большой уверенности, скорее по аналогии с другим близкими по времени стихами элегической тональности. Стояла ли за ней в самом деле какая-либо жизненная реалья, — сказать трудно; первая ее редакция, сохранившаяся в беловом автографе, представляла собою обычную „унылую элегию”, каких было много в поэзии 1810-х годов. Она начиналась характерной ламентацией элегического субъекта, расстающегося с юношескими мечтами:

Где мир, одной мечте послушный?
Мир настоящий опустел!
На все взираю равнодушно,
Дышать уныньем мой удел.²

В соответствии с законами элегического построения далее развертывается цель пейзажных картин, контрастно оттеняющих лирическую тему „уныния”: ветерок, колышущий розу, вечерний и утренний сумрак с белеющим при свете месяца кленом. . . . Все завершалось лирической миниатюрой, изображающей свидание любовников при свете луны.

Эта ранняя элегия Пушкина, во многом традиционная, имела один весьма любопытный аналог, а для некоторых деталей — и источник — в современной ему поэзии.

1. См., напр., М. А. Цявловский, *Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, 1799-1826*. Изд. 2, испр. и доп. (Ленинград: Наука, 1991), стр. 92.

2. А. С. Пушкин, *Полное собрание сочинений*, 17 тт в 21 (Москва: Академия наук СССР, 1937-59), т. 1, стр. 378. Далее ссылки на это издание в тексте (том, страница).

В 1815 г. в *Чтениях в Беседе любителей русского слова* появилось стихотворение А. Г. Родзянки „К другу”. В следующем же году оно в новой редакции было напечатано в *Духе журналов*.³

Оба издания – в особенности первое – были враждебны литературной ориентации молодого Пушкина.

Симпатии его в это время полностью принадлежат литературному кругу, в октябре 1815 г. организовавшему общество „Арзамас” для борьбы именно с „Беседой любителей русского слова”. Общество это, включившее Жуковского, Вяземского, Батюшкова, Дашкова, Блудова, В. Л. Пушкина, – литературных учителей будущего великого поэта, – достаточно хорошо исследовано,⁴ и нет ни надобности, ни возможности останавливаться здесь на нем специально. Заметим лишь факт, важный для нашей темы: полемисты „Арзамаса” внимательно следили за литературной продукцией своих противников. В так называемых арзамасских речах и протоколах, в пародийных „похвалах” избранным специально для памфлетных целей членам „Беседы”, ощущается детальное знакомство с сочинениями, не только опубликованными в *Чтениях* этого общества, но изданными анонимно или даже неизданными, ходившими в списках. Так, в пародийно-памфлетной „похвале” Д. Н. Блудова И. С. Захарову, произнесенной на „арзамасском” заседании 16 декабря 1815 г., цитировалась „Похвала женам” Захарова, напечатанная в *Чтениях* еще в 1811 г., а заодно упоминалась неизданная пьеса его „Приданое” и изданная анонимно комедия *Высылка французов*.⁵ Число подобных примеров легко умножить; мы останавливаемся на этом потому, что Пушкин был осведомлен о заседании 16 декабря 1815 г., получившем в силу драматического совпадения неожиданно печальный резонанс: Захаров, герой пародийно-похвальной „надгробной” речи (по образцу похвальных речей умершим членам французской Академии), действительно скончался две недели спустя (30 января/11 февраля 1816 г.), и Блудов, носивший в „Арзамасе” шуточный псевдоним „Кассандра”, выполнил роль зловещей пророчицы. В сохранившихся нескольких строках речи Пушкина при его приеме в „Арзамас” в 1817 г. обыгры-

3. Гр. Родзянка (так!), *К другу*. – *Чтения в Беседе любителей русского слова. Чтение 18* (С.-Петербург, 1815), стр. 62-64; А. Родзянка, „К другу. (Подражание Горацию)”, *Дух журналов*, ч. 13, кн. 31 (1816), стр. 289-92.

4. См., напр., свод данны о связях Пушкина с „арзамасцами” в это время. М. И. Гиллельсон, *Молодой Пушкин и арзамасское братство* (Ленинград Наука, 1974).

5. *Арзамас и арзамасские протоколы* (Ленинград. Издат. писателей, 1933), стр. 127-30; В. П. Степанов, „Захаров, И. С.”, *Словарь русских писателей, XVIII века. Вып. 1 (А-И)* (Ленинград. Наука, 1988), стр. 330-31.

вается именно этот эпизод („ . . . смерть Захарову пророчила Кассандра”). *Дух журналов* Г. М. Яценко, где печатались (или перепечатывались) время от времени стихи полупрофессиональных стихотворцев преимущественно архаической ориентации, также был в поле зрения „арзамасцев”: о „бездушном *Духе* неизвестных *Журналов*” упоминал Блудов в протоколе заседания 22 апреля 1817 г.; и тогда же, во вступительной речи М. Ф. Орлова было заявлено, что он вселяет „дух уныния”; несколькими месяцами позднее Жуковский в протоколе, написанном гекзаметрами, вывел „тощего гофмейстера Яценко”, издающего „нестерпимый *Дух*”.⁶

Лицейские полемические сочинения Пушкина показывают, что, как и его учителя, он внимательно читал издания своих литературных антагонистов. В „Тени Фон-Визина” (1815), в раннем послании „К Батюшкову” (1814) и других стихах лицейского времени мы можем уловить прямые отсылки к их сочинениям. Послание „К Батюшкову” в этом отношении особенно интересно: как показали разыскания М. А. и Т. Г. Цявловских, в ранней его редакции (1, 354) содержится памфлетный пассаж, посвященный стихотворению С. А. Ширинского-Шихматова „Сельский житель. (1814 г. Месяц Цветень)”.⁷ Это произведение, вышедшее отдельной маленькой брошюрой, не было замечено в „Арзамасе”, и юный Пушкин был, кажется, единственным, кто сделал его предметом своей сатиры. Тем более вероятно, что он следил за официальным органом *Беседы — Чтениями* . . . , а, может быть, пролистывал и *Дух журналов*, замеченный арзамасскими полемистами. Последние же книжки *Чтений* . . . за 1815 год должны были привлечь его внимание и по особым причинам: в 17 книжке были напечатаны статья В. В. Капниста о гекзаметре и ответ ему „арзамасца” С. С. Уварова — важнейшая по своим последствиям теоретическая полемика, предопределившая во многом судьбу русского перевода *Илиады* Гомера, а также новые басни Крылова.⁸ Все это поддерживает предположение, что стихотворение Родзянки, напечатанное в следующей, восемнадцатой книжке, было прочитано им сразу по выходе.

В 1816 году Пушкин, по-видимому, еще не был знаком с самим автором этого стихотворения, с которым позже ему довелось встре-

6. *Арзамас и арзамасские протоколы*, стр. 204, 208, 228.

7. А. С. Пушкин, *Полное собрание сочинений. Справочный том. Дополнения и исправления. Указатель* (Москва: Академия наук СССР, 1959), стр. 456 (Ширинский-Шихматов, С. А.).

8. См. роспись книжек *Чтений* . . . в кн.: Марк Альтшуллер, *Предтечи славянофильства в русской литературе. (Общество „Беседа любителей русского слова”)* (Ann Arbor: Ardis, 1984), стр. 381-82.

чаться и даже установить приятельские отношения, а в 1822 г. стать предметом его сатирических нападков. Перипетии этих отношений мы пытались проследить в другом месте,⁹ — сейчас же нас интересует их предыстория, когда молодой поэт имел дело не с сочинителем, а с сочинением.

Аркадий Гаврилович Родзянка (или Родзянко, 1793-1846) не был „беседистом” в точном смысле слова, но он был выучеником Московского университетского Благородного пансиона где в 1810-е годы возобладали архаическая литературная ориентация. Любимый ценик А. Ф. Мерзлякова, у которого он в 1813 г. даже жил дома в качестве пансионера, он воспринял от учителя неприятие новых веяний в литературе и эстетике; в 1817 г. он будет резко атаковать сочинения Байрона и г-жи де Сталь. В 1814 г. он поступает в гвардию и переезжает в Петербург; связанный издавна с семейством Капнистов, он естественно входит в круг старинного друга Капниста — Г. Р. Державина; 3 октября 1815 г. Державин сообщает Капнисту о посещении Родзянки, которым он остался очень доволен.¹⁰ Подражаниями Державину Родзянка начинал свое поэтическое поприще, — и, несомненно, через Державина он получил бы доступ в *Беседу*, — но старый поэт умирает в 1816 г., а вслед за тем и самая *Беседа* прекращает свое существование. Родзянка успевает напечатать в *Чтениях* . . . только одно свое стихотворение: именно, интересующее нас сейчас послание „К другу”. Вторично, почти полностью переработанное, оно, как мы говорили, появилось в *Духе журналов*, который и стал тем петербургским изданием, где с 1816 г. систематически появляются стихи Родзянки, преимущественно анакреонтические. Издатель журнала печатно объявил его едва ли не основной поэтической силой своего издания. „. . . Литература всеконечно не сделает чести нашему журналу, — скромно замечал он. — Мы исключаем однако стихотворения г. Родзянки, и в особенности превосходную его статью „Развалины Греции”, которая достойна быть поставлена наряду с отличными произведениями стихотворного гения”.¹¹ Это было то самое стихотворение, которое особо оценил Державин и даже назначал его к слушанию в публичном заседании *Беседы*.

Послание „К другу” как бы сводило в одну точку несколько тенденций, уже обнаружившихся в поэтическом творчестве Родзянки. Это

9. В. Э. Вацура, „Пушкин и Аркадий Родзянка. (Из истории гражданской поэзии 1820-х годов)”, *Временник Пушкинской комиссии*, 1969 (Ленинград. Наука, 1971), стр. 43-68.

10. Г. Р. Державин, *Сочинения*, 2-е акад. изд., 7 тт. (С.-Петербург Императорская Академия наук, 1876), т. 6, стр. 368.

11. *Дух журналов*, кн. 52 (1816), стр. 1189.

была свободная вариация 9 оды П книги „Од” Горация, которую переводил Капнист („Утешение в горести”, 1799) и использовал Державин – в начальной строфе оды „На смерть графини Румянцевой” (1788), и даже напечатана в *Чтениях* . . . она была вместе с „Переводом оды Горациевой к Меценату (Кн. III. Ода 16)” Капниста. Вместе с тем перевод Родзянки принадлежал уже, конечно, поэту новой формации. Он очень свободно обошелся с оригиналом (при переиздании он назвал стихотворение „подражанием Горацию”), развив в нем прежде всего элегические мотивы. При этом он воспользовался фразеологией „элегической школы”; четвертая строфа его стихотворения подхватывала темы знаменитой элегии Жуковского „Мечты” (перевод „Идеалов” Шиллера), оказавшей мощное воздействие на русскую элегическую поэтику.

Жизнь, счастье смертных – сон прелестный,
 Не видишь и не слышишь ты,
 Как быстро в край, нам неизвестный,
 Несутся юности мечты.
 Очарованье исчезает,
 И опыт светочью своей
 Прелестный призрак прогоняет
 И с ним всю радость наших дней.¹²

Здесь все соткано из элегических формул Жуковского. Ср. в „Мечтах”:

Зачем так рано изменила?
 С мечтами, радостью, тоской,
 Куда полет свой устремила?
 Неумолимая, постой!
 О дней моих весна златая,
 Постой . . . тебе возврата нет . . .
 Летит, молитве не внимая,
 И все за ней помчалось вслед.

Или в элегическом послании Жуковского „Тургеневу, в ответ на его письмо” (1813):

12. *Чтения в Беседе любителей русского слова. Чтение 18* (С.-Петербург, 1815), стр. 63.

Вдали сиял пленительный призрак —
 Нас тайное к нему стремление мчало.
 Но опыт вдруг накинул покрывало
 На нашу даль — и там один лишь мрак . . .¹³

Аллегорический мотив улетающей юности или любви Пушкин варьирует в „Наслажденье” того же 1816 года:

Златые крылья развивая,
 Волшебной нежной красотой
 Любовь явилась молодая
 И полетела предо мной.
 Я вслед . . . но цели отдаленной,
 Но цели милой не достиг . . . (1, 222)

Лексико-фразеологическая близость подражаний Жуковскому настолько велика, что прямые лексические и образные совпадения в них иногда трудно считать реминисценциями, а приходится относить за счет общности источника. Так, в интересующем нас стихотворении Родзянки читаем:

Увы! а наши дни младые
 Лишь старости услышат глас,
 Поднимут крылья золотые
 И улетят навек от нас.¹⁴

С другой стороны, именно эта близость создавала предпосылки для своеобразного „обмена” не только словесными формулами, но и более индивидуальными деталями в тексте. Стихи Родзянки оказывались созвучны поискам как юного Пушкина, так и его ближайшего поэтического окружения (Дельвиг, Кюхельбекер) сочетанием элегических и гораццианских мотивов, — и есть основания считать, что в пушкинскую элегию „Окно” из послания „К другу” перенесена именно такая деталь, — естественно, отсутствующая в латинском оригинале. Концовка „подражания” Родзянки содержит мимолетную сцену воображаемого свидания лунным вечером, под окном возлюбленной:

13. В. А. Жуковский, *Стихотворения*, 2 тт. (Ленинград: Советский писатель, 1939), т. 1, стр. 68; т. 2, стр. 127.

14. *Чтения в Беседе*. . . . Чтение 18, стр. 63.

Спешу украдкой, молчаливо
Под скрытое меж лип окно.
Любовью робкой, торопливо
Тебе откроется оно.¹⁵

Как мы помним, пушкинское стихотворение оканчивается подобным же эпизодом свидания при луне, уже осуществленного.

„Я здесь!“ – шепнули торопливо,
И дева трепетной рукой
Окно открыла боязливо . . .
Оделся месяц темнотою.
„Счастливец, – молвил я с тоскою, –
Тебя веселье ждет одно! –
Когда ж вечернею порою
И мне отворится окно” (1, 378).

Легко заметить точки соприкосновения в поэтических текстах. Варьирована не только последняя строка; повторены рифмы и эпитеты, располагающиеся в пределах одного семантического поля (у Родзянки – „робкой”, „торопливо”, у Пушкина – „торопливо”, „боязливо”, „трепетной”). Реминисценция несомненна; другое дело, что она, вероятно, неосознанна, и что в целом стихи Родзянки остались на периферии художественного сознания Пушкина. Тем не менее, заимствовано нечто большее, чем просто формула: заимствована сцена, жест с его эмоциональным содержанием.

В 1817 г., накануне выпуска из Лицея, Пушкин отдал „Окно” – наряду с другими стихами для переписки в так называемую „Лицейскую тетрадь” – рукописное собрание своих стихотворений, послужившее затем основой для подготовки его первого стихотворного сборника. По-видимому, в это же время он создал вторую редакцию элегии, которая и попала в тетрадь. Он сократил ровно наполовину первоначальный текст, – так он не раз поступил со своими элегиями, – и оставил только заключительный эпизод с „девой” и ее возлюбленным. Тем самым он затемнил литературный генезис и в значительной мере видоизменил жанровую природу стихотворения. Традиционная элегия, как она складывалась в России в 1810-е годы, предполагала некоторую композиционную аморфность в качестве оптимального жанрового признака. „Разные части элегии, как и мечты, связуются между собою едва приметной

15. Там же, стр. 64.

нитию воображения, — говорилось в переводном ‚Рассуждении об элегии’, обобщавшей поэтическую практику (прежде всего французских авторов), — в соединении мыслей настоящее смешивается с будущим; нерешительный разум беспрестанно возвращается к предметам, которые казались истощенными”.¹⁶ Именно эта органическая особенность жанровой поэтики начинает теперь, на рубеже поэтической зрелости, ощущаться Пушкиным как дефект, как „вялость”, — и он безжалостно отсекает большие фрагменты текста, чаще всего те, которые построены на „общих местах” элегического жанра. Так он поступил и с „Окном”. Центром новой, сокращенной редакции оказалась, таким образом, сцена, импульс к которой дало Пушкину „подражание” Родзянки. Однако в целом переработка не приблизила, а удалила „Окно” от первоначального источника, ибо вместе с жанровой природой изменилось и положение эпизода в общем художественном контексте, — и теперь разве только текстологическое и историческое исследование может уловить связи, существовавшие некогда между юношеской элегией Пушкина и ничем особенно не примечательным произведением массовой журнальной поэзии 1810-х годов.

2.

Пророчество Андрея Шенье

В знаменитой элегии Пушкина „Андрей Шенье” предсмертный монолог поэта в темнице оканчивается пророчеством, обращенным к Робеспьеру:

Падешь, тиран! Негодование
 Воспрянет наконец. Отечества рыданье
 Разбудит утомленный рок.
 Теперь иду . . . пора . . . но ты иди за мною;
 Я жду тебя. (II, 402).

Это то самое место элегии, которое сразу же пришло Пушкину на память, когда умер Александр I, — в ноябре 1825 г., через несколько месяцев после создания стихотворения, — и поэт написал П. А. Плетневу (4-6 декабря 1825 г.): „Душа! я пророк, ей Богу, пророк! Я Андрея Ш(енье) велю напечатать церковными буквами во имя от(ца) и сы(на) etc.” (XIII, 249). Но в самой элегии это было пророчество задним чи-

16. Рассуждение об элегии. Соч. Мальтебрена. Из нового французского журнала *Le Spectateur*. Пер. П. К-в. — *Сын отечества*, № 51 (1814), стр. 221.

слоем. Казнь Шенье совершилась 25 июля 1794 г., за два дня до падения якобинцев; Пушкин ввел этот мотив в элегию („Постой, постой; день только, день один: И казней нет, и всем свобода. . .”) и сделал специальное примечание: „Он был казнен 8 термидора, т.е. накануне низвержения Робеспьера”. Пушкин привел в примечаниях и подлинные последние слова Шенье: „На месте казни он ударил себя в голову и сказал: *pourtant j'avais quelque chose la*” (П, 403). Это предание, приведенное в биографическом очерке А. де Латуша, предпосланном изданию Шенье 1819 г., было широко известно: его пересказывал и П. А. Вяземский в фрагменте стихотворения „Библиотека”, посвященном Шенье. Любопытно, что через десять лет М. Ю. Лермонтов в поэме „Сашка” будет сожалеть именно о том, что перед смертью Шенье даже словом не отомстил своим гонителям:

. . . творческую грудь
 Ни стих язвительный, ни смех холодный
 Не посетил — и ты погиб бесплодно. . .¹⁷

„Пророчество Шенье” не опиралось, таким образом, на реальные факты биографии французского поэта и принадлежит полностью творческому воображению Пушкина. Однако оно имеет свою литературную генеалогию, может быть, даже не осознанную Пушкиным.

В романтической литературе тема французской революции 1789 года постоянно связывалась с появлением, образов визионеров, прорицателей, иногда таинственных, несущих на себе печать принадлежности к некоему иному миру. Характерно, в частности, оживление легенды Лагарпа о „пророчестве Казотта”, якобы за шесть лет до революции на вечере в аристократическом обществе предсказавшего присутствовавшим (в том числе и себе самому) трагическую судьбу. Фигуры Агасфера, Калиостро, Сен-Жермена почти неизбежно присутствуют в русских новеллах и повестях о событиях 1789 года: в „После днем Колонне” В. К. Кюхельбекера, повести „Кто он?” Н. А. Мельгунова, „Густаве Гацфельде” В. А. Ушакова, „Искусители” М. Н. Загоскина. Сен-Жермен в *Пиковой даме* Пушкина имеет то же происхождение. Эта своеобразная традиция могла не становиться концептуальным моментом сюжетного построения и присутствовать как реликт, — так, как это происходит „Андрее Шенье”.

17. См. свод этих материалов в изд.: *Французская элегия XVIII-XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры* (Москва: Наука, 1989), стр. 566-67, 574.

Особенность этого мотива в пушкинской элегии в том, что жертва произвола предсказывает „тирану” гибель, таинственно связанную с ее собственной гибелью. Шенье как бы увлекает за собой Робеспьера, чтобы в урочный срок предстать с ним перед высшим судом:

... иди за мною;
Я жду тебя.

Эта ситуация была хорошо известна Пушкину: она была закреплена легендой о Жаке Моле, великом магистре ордена тамплиеров, сожженном на костре в 1314 г. и перед смертью предсказавшего смерть своим палачам — пале и королю.

В начале XIX в. „предсказание Моле” попало в поле зрения широкого круга литераторов. В 1805 г. на французской сцене появляются *Тамплиеры* — трагедия Франсуа-Жюста-Мари Ренуара (Raynouard, 1761-1836), драматурга и историка, некогда жирондиста, прошедшего тюрьму Конвента и освобожденного термидорианским переворотом. Трагедия пользовалась шумным успехом; в ней искали — и находили — современное политическое содержание. Она ставила проблему беззакония власти, опирающегося на теорию государственного интереса, — проблему, особенно интересовавшую Пушкина в период работы над *Борисом Годуновым* и изучения „Анналов” Тацита. В литературном же отношении *Тамплиеры* считались образцом исторической трагедии. Их высоко оценивал, между прочим, Мари Жозеф Шенье, брат казенного поэта, и г-жа де Сталь, обращавшая внимание в особенности на последнюю сцену с рассказом о казни тамплиеров.¹⁸ В этом рассказе и появляется пророчество Моле; оно произнесено в последнем монологе великого магистра, уже стоящего на костре:

L'arret qui nous condamne est un arret injuste;
Mais il est dans le ciel un tribunal auguste
Que le faible opprime jamais implore en vain,
Et j'ose t'y citer, o pontife romain!
Encor quarante jours! . . . je t'y vois comparaitre.

18. Анализ трагедии см.: Б. Г. Рейзов, *Между классицизмом и романтизмом. (Спор о драме в период первой Империи)* (Ленинград: Ленинградский государственный университет, 1962), стр. 32-39.

Фразеологически все это довольно далеко от пушкинского текста. Гораздо ближе к нему следующая часть монолога, где Моле обращается к королю. Именно здесь появляется несущая у Пушкина особую семантическую нагрузку формула „я жду тебя”. Заметим, что этот фрагмент – центральный в сцене; он подготовлен описанием смятения народа, услышавшего пророчество:

Chacun en fremissant ecoutait le grand-maitre,
Mais quel etonnement, quel trouble, quel effroi!
Quand il dit: “O Philippe, o mon maitre, o mon roi!
Je te pardonne en vain, ta vie est condamnee;
Au tribunal de Dieu je t’attends dans l’annee”.

Стоит подчеркнуть, что последние слова Моле – не проклятие, а именно пророчество, внушенное свыше: сам он простил короля.

К этому месту трагедии Ренуар сделал обширное историческое примечание, где приводил выдержки из латинских сочинений бельгийского гуманиста Юста Липсия (1547-1606), немецкого иезуита Иеремии Дрекслиуса (1581-1638) и др. Оно весьма интересно, так как содержит указания на источники легенды, и мы приведем его целиком.

„Историки удержали народное предание, что великий магистр вызвал на суд Всевышнего папу через сорок дней, а короля через год. Может быть, факт смерти папы и короля, которая последовала вскоре за казнью великого магистра стал причиной распространившихся в народе слухов, которые затем были усвоены даже знаменитыми писателями, среди которых я могу процитировать Юста Липсия, изъяснившегося следующим образом: „В высшей степени достоверно то, что произошло с папой Клементом У, который на суде в Вьенне приговорил тамплиеров – сообщество, преданное религии и долгое время благое и полезное, и сторонников их без разбора казнил огнем и железом; будучи же многими из них вызван к высшему суду, через малое после того время скончался, словно бы вызванный к явке в назначенный срок верховным судьей. В то же время (что еще удивительнее) и по тому же случаю умер Филипп, король Франции, по чьему соизволению означенный приговор был произнесен, а имущество в его пользу конфисковано; если случайность – удивляемся, если Божья воля – благоговеем”.

В „Достопамятных событиях . . .” читаем, что некий неаполитанский тамплиер, сожженный в Бордо, так призвал папу и короля на суд Бога:

„Жесточайший тиран Клемент, после того, как мне более некому среди смертных жаловаться на то, что ты несправедливо осудил меня на тяжкую смерть, взываю к нелицеприятному Христову суду, который избавил меня; к его трибуналу зову тебя вместе с королем Филиппом, чтобы вы предстали перед ним оба через год и один день; там открою я свои побуждения и состоится суд правый”, – и спустя некоторое время Клемент и король умерли.

Иезуит Дрекселиус восклицает по этому поводу: “Quis neget geniale aliquid et divinum hic intervenisse supremo numine consciscente?” (L. II, de Tribun. Christ. С. 3). „Кто бы стал отрицать, что в этом есть нечто вдохновенное свыше и божественное, происшедшее по соизволению Всевышнего?”

Эти народные слухи, воспринятые историками, показывает, что общее мнение отнюдь не одобряло осуждения тамплиеров¹⁹.

Легенда о пророчестве Моле имела своеобразную судьбу. Она стала одной из составных частей историософских построений, связанных с событиями Французской революции. Сочувственный интерес к драме ордена тамплиеров пробудился еще в XVIII веке; позднейшая историософия стала искать мистические связи между гибелью тамплиеров и французской монархии; замечали, что Бастилия стояла на месте тюрьмы Моле, а уничтоженная статуя Генриха IУ на месте его казни. Эти связи устанавливались уже в сочинениях пореволюционных лет, например, в *Гробнице Жака Моле* (1796, 2-е изд. 1797) Ш.-Л. Каде де Гассинкура (1769-1821), известного химика, фармацевта и литератора; здесь говорилось и о пророчестве Моле: „Взойдя на костер, Моле предсказал день и час, когда погибнут король и папа; Боссуэ и Гюг де Пайенн соглашаются в том, что предсказание сбылось”.²⁰ В русской литературе брошюра Каде де Гассинкура была воскрешена в период революции 1905 года; на нее опирался Максимилиан Волошин, создавая свой этюд „Пророки и мстители (Предвестия великой революции)”, вошедший затем в его *Лики творчества*.²¹

Мы не знаем, что из этой литературы попало в поле зрения Пушкина к 1825 году. Нам известно, однако, что в его так называемом „Письме к издателю” *Московского вестника* (1828) упомянуты как новей-

19. *Les Templiers*, tragedie, par M. Raynouard . . . (Paris: Giguet et Michaud, An XIII [1805]), сtp. 97-98.

20. Ch. Cadet de Gassicourt, *Le Tombeau de Jacques Molai* . . . (Paris: Chez les marchands de nouveautes, l’an 4, de l’ere francaise [1796]), сtp. 7.

21. См.: М. А. Волошин, *Лики творчества*. Изд. подг. В. А. Мануйлов, В. П. Купченко, А. В. Лавров (Москва: Наука, 1988), сtp. 189-208.

гие, так и более ранние постановки наиболее заметных французских трагедий на исторические темы, которые поэт читал на протяжении 1820-х годов, — трагедии Жули, Пиша, Арно.²² Среди этих постановок 1820-х годов *Тамплиеры* Ренуара продолжали привлекать внимание публики. В марте 1824 г. литератор круга П. А. Катенина Н. И. Бахтин, находившийся в это время в Париже, с похвалой рассказывает о ней Катенину; адресат же письма, высланный в это время из Петербурга в свое имя Шлево за политическую и театральную фронду, отвечает ему интереснейшим письмом, из которого следует, что трагедия ему давно и хорошо известна.²³ Отзыв Катенина тем более важен, что Пушкин близко общался с ним на протяжении 1817-1820 гг., в период своего острого увлечения театром. К трагедии Ренуара Катенин относится сдержанно, и претензии его почти дословно совпадают с теми, которые адресует французским трагикам Пушкин в „Письме к издателю *Московского вестника*”. Он видит в ней не трагедию собственно, а „разговоры о политике”, где „истории тени нет”, как нет и психологической правды; впрочем, он находит в ней и „бесподобные” стихи. Может быть, на этот раз неутомимый спорщик победил свою непреодолимую страсть к противоречию и согласился с мнением г-жи де Сталь, ценившей, как мы помним, в особенности концовку. „В этой благородной трагедии, — писала она, — находится одно из самых возвышенных выражений, какие только можно слышать со сцены. В последнем действии рассказывается, как тамплиеры на костре пели псалмы; к ним послан гонец, чтобы объявить им милость, которую король решил им даровать, — но было уже поздно: песнопения смолкли”.²⁴ Именно это место трагедии и привлекало русских литераторов. Вероятно, его имел в виду Денис Давыдов, когда писал о себе, что в пылу великих сражений он „пел . . . , как на костре тамплиер Моле, объятый пламенем”. В начале 1820-х годов появляется и русский его перевод, — когда Орест Сомов, вернувшийся из Парижа, печатает в журнале *Благонамеренный* отрывок „Смерть рыцарей Храма” с примечанием: „Из трагедии Ренуара *Les Templiers*, действ. (ие) У, явл. (ение) посл (еднее)”.²⁵

22. Б. В. Томашевский, *Пушкин и Франция* (Ленинград: Советский писатель, 1960) „стр. 70-71.

23. Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину в *Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века* (С.-Петербург, 1911), стр. 61-62.

24. M-me de Stael, *De l'Allemagne*. Nouvelle ed. (Paris: Garnier freres, 1879), стр. 197.

25. Д. Давыдов, *Стихотворения* (Ленинград: Советский писатель, 1984), стр. 130.

Является Магистр: он всех их упреждает,
 Чело его лучом спокойствия сияет;
 Надежды полный взор возводит к небесам,
 Он молится Творцу . . . и мнилось видеть нам,
 Что он судьбы из уст Предвечного внимает.
 Вдруг страшным голосом он зрителям вещает.

.....
 „Неправедным судом нам казнь дана сия . . .
 Но там, на небесах, есть вышний Судия,
 К которому вотще невидный не взывает.
 Он все деяния, все мысли наши знает.
 Тебя, о Климент, жду пред Судию сего.
 Чрез сорок дней — и ты предстанешь пред Него!“
 Все с ужасом слова Магистровы внимали;
 Но как вам изъяснить, что все мы ощущали,
 Как описать вам страх, который всех объял,
 Когда болезненным он голосом сказал:
 „О царь мой! о Филипп! вотще тебя прощаю;
 Ты осужден! . . тебя чрез год я ожидаю. . . .“

Именно эта ситуация, как нам представляется, определила круг побочных ассоциаций, наложившихся на биографию Андрея Шенье. В словах „иди за мною“, „я жду тебя“ позволительно заподозрить прямую фразеологическую перекличку. Текст Пушкина даже ближе к переводу Сомова, чем к подлиннику Ренуара. у Сомова повторяются синонимические глаголы „жду“, „ожидая“. Строки пушкинской элегии „Постой, постой; день только, день один“, — драматизирующий мотив „опоздавшего освобождения“ — как бы рецепирует один из центральных мотивов последней сцены *Тамплиеров*: весть милосердия приходит поздно „песнопения смолкли“.²⁶ Наконец, трактат г-жи де Сталь, очень внимательно прочитанный Пушкиным, прямо подсказывал аналогию между казнью Моле и якобинским террором упрекая Ренуара в неправдоподобии сценического времени (осуждение и казнь тамплиеров, в соответствии с классическим законом единства времени, происходит в один день), г-жа де Сталь пишет: „Революционные суды осуществлялись быстро, — но при всем их свирепом желании, не столь стремительно, как во французской трагедии“.²⁷ Проблема соотношения сценического и

26. *Благонамеренный*, № 14 (1821), стр. 73-74.

27. M-me de Stael, *De l'Allemagne*, стр. 196

реального времени была одной из центральных для Пушкина в период работы над *Борисом Годуновым*, и если он обратил внимание на это рассуждение, то, конечно же, не из-за содержащейся в нем необязательной аналогии, — однако сейчас нас интересуют не столько центральные, отрефлектированные им эстетические вопросы, сколько то, что нечувствительно откладывалось на периферии его художественного сознания.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук



